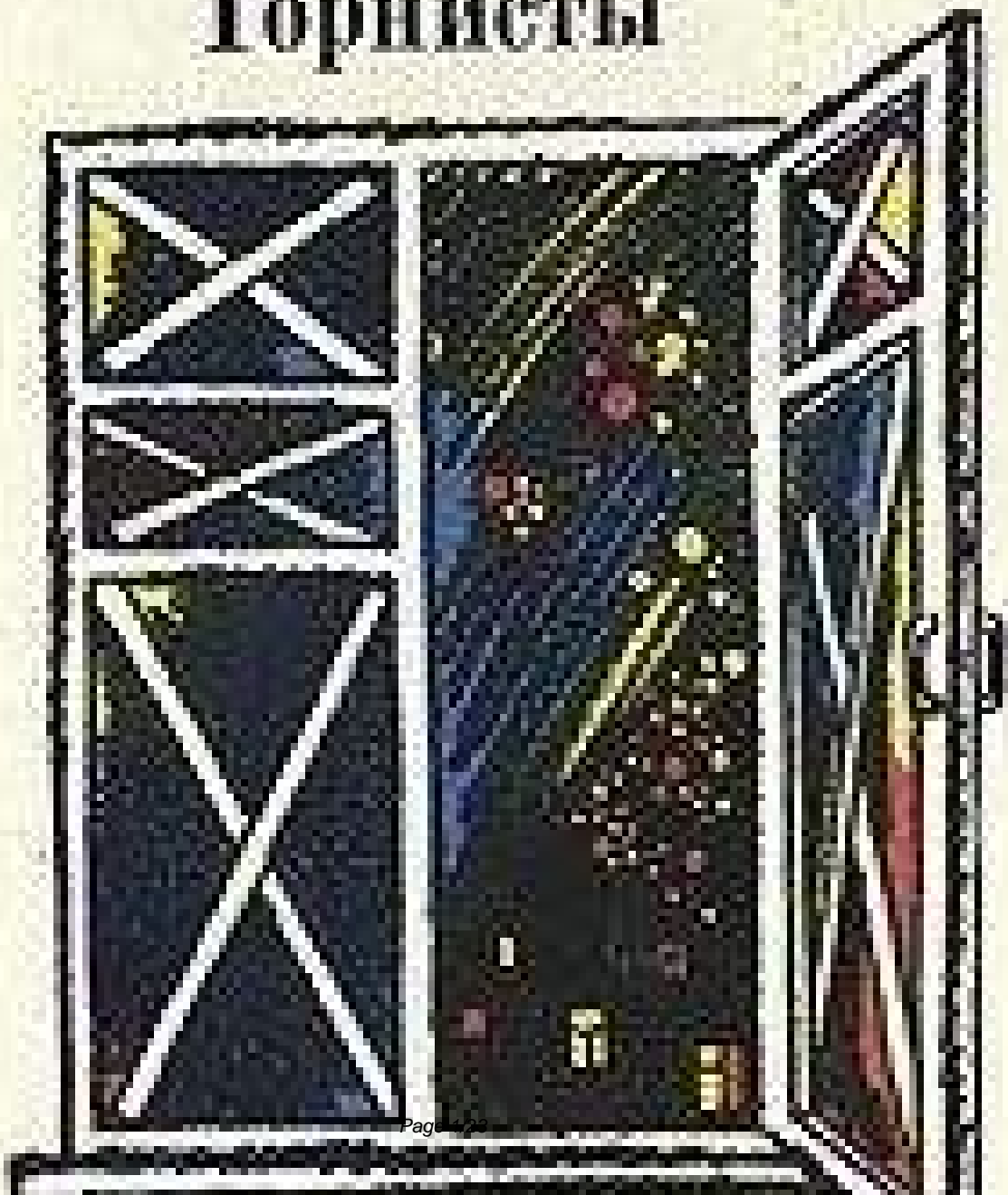


АНАТОЛИИ АЛЕКСИИ

Сигнальщики
и
Горнисты



Анатолий Алексин

Сигнальщики и горнисты

У каждого человека должно быть имя (это обязательно!) и может быть прозвище (если придумают!). У меня же при одном имени было целых два прозвища!

Сперва прозвали Горнистом. Но на горне я никогда не играл: не было слуха. Много лет прошло с той поры, а слух у меня так и не появился... Разные песни я и сейчас исполняю на один и тот же мотив.

— Всех авторов уравнивал в правах! — с грустью когда-то шутила мама, как бы сочувствуя композиторам.

Она ощущала постоянную потребность сочувствовать людям. Даже тем, которые, на мой взгляд, в сочувствии не нуждались.

— Все в этом нуждаются, — уверяла она. — Безоблачных судеб нет.

Облака — еще ничего: от них не бывает грозы. А над маминой судьбой два раза собирались такие тучи, что ей до конца жизни могли бы чудиться громы и молнии. Но не чудились.

У нее был единственный брат... Мой дядя. Как только я стал что-либо понимать, мама рассказала, что брат ее погиб на войне. Ему было всего восемнадцать — и я вслед за мамой называл его просто Андрюшей.

У нее был единственный муж. Мой отец... Он тоже воевал. Но вернулся домой.

— Вернулся, чтобы проститься, — говорила мама.

На фронте отца засыпало землей. Он был сильно контужен. Его откопали... Но контузия осталась в нем — и через тридцать лет вновь засыпала землей. Уже навсегда.

— Ненавижу войну! — говорила мама.

Слово «ненавижу» звучало в ее устах так странно, что я каждый раз вздрагивал.

«Нина Васильевна — наш добрый гений!» — восклицали соседи из разных квартир. И лишь сосед по фамилии Гнедков, живший прямо под нами, встретив маму, начинал заботливо поучать ее:

— Не расшибайтесь, Нина Васильевна. Не оценят! Поверьте: каждый будет судить о вас не по тому, что вы свершили для других, а лишь по тому, что сделали для него. Персонально. Изменить человечество — это не в ваших силах.

Голос у Гнедкова был вкрадчивый, въедливый. Он доверительно заглядывал в глаза, особенно когда говорил про все человечество, которое не устраивало и раздражало его.

Почему меня прозвали Горнистом?

Этого я не могу сказать, пока не дойду до одной истории, которая сама все объяснит: скромность украшает человека. Хотя, как сказала мне учительница Екатерина Ильинична, с которой вы познакомитесь несколько позже, «скромность, не живет в одиночку». Она пояснила:

— Когда мы говорим, что человек скромн, надо мысленно подразумевать «но»: отважен, но скромн; талантлив, но скромн... А сказать «скромн, но скромн», — нельзя. Чего скромничать, если не имеешь других достоинств?

Про Екатерину Ильиничну я бы сказал: умная, но скромная; честная, но скромная; просто замечательная, но скромная... Ну и так далее! Вы сами убедитесь. Она первая прозвала меня Горнистом. А потом переименовала в Сигнальщика. Почему? И об этом вы узнаете, как говорится, в свое время.

Буду рассказывать по порядку, чтобы не сбиться. Тем более что все это было уже давно.

Мама была педиатром. Проще говоря, детским врачом. Но дети нашего дома к ней за советами не обращались: в юную пору человек ощущает себя бессмертным и не думает о недугах. Взрослые же не давали маме прохода: было известно, что, ухаживая за больным мужем, то есть за моим отцом, мама овладела всеми медицинскими специальностями.

— Ваша квартира напоминает процедурный кабинет: делаете уколы, измеряете давление, — укорял маму Гнедков, живший под нами. — Если б я был вашим мужем, я бы этого не допустил!

Я радовался, что Гнедков никогда не мог стать маминым мужем.

Но на всякий случай предупредил:

— Не думай, что он заботится о тебе: плохие не могут любить хороших.

— Но, к сожалению, хорошие иногда любят плохих, — со вздохом ответила она. — Это случается.

— Щедрой вас, поверьте, будет считать лишь тот, кого вы облагодетельствуете, — втолковывал маме, доверительно заглядывая ей в глаза, Гнедков с нижнего этажа. — А всех, Нина Васильевна, благодеяниями не охватишь! Да и охваченные скоро забудут...

— Я и не хочу, чтобы они помнили.

— Вы похожи на своего брата Андрюшу. Он тоже был слабохарактерным. Не умел говорить «нет». Научитесь отказывать! Это полезное свойство.

Мама была терпелива, когда дело касалось ее самой: беззвучно переносила физическую боль, умела скрывать душевную. Она, невысокая, худенькая, коротко подстриженная, в этих случаях лишь напряженно сжималась — и тогда уж совсем начинала походить на семиклассницу. Но если были несправедливы к кому-либо другому, черты ее лица и голос становились острыми, словно обнажались для отпора, для битвы.

— Андрюша был слабохарактерным? — переспросила она Гнедкова. — Идем, Петя! — Мама жестко взяла меня за руку. Потом обернулась к соседу с нижнего этажа. — Со своим слабым характером он поднялся навстречу танку. Вам не доводилось так поступать?

Худенькая мама протащила меня вверх по лестнице на наш третий этаж: она не желала слушать Гнедкова.

Потом перегнулась через перила и оттуда, сверху, еще раз метнула в него копьe:

— Отыскивать слабое у сильных, мелкое у крупных — утешительно для себя, не правда ли? Так вроде и сближаешься с ними?

— Что вы имеете в виду? И кого? — вопрошал снизу Гнедков так обескураженно, будто,

играя, ударил по мячу, внутри которого оказалась взрывчатка.

Мама точно знала, кто, в какой квартире и чем болен.

Больных мама определяла сразу: по цвету лица, по воспаленному блеску глаз, по движению и походке. Она не могла пройти мимо человека, который недомогал.

«У-у, как вы дышите! — обращалась она к одному. — Не помогать сердцу это варварство, бескультурье».

«Зачем вы стараетесь превозмочь болезнь на ногах? — обращалась к другому. — Конфликт с организмом не кончится в вашу пользу!»

Людей, пренебрегавших здоровьем, мама считала жестокими:

— Себя не жалеют, так пожалели бы близких!

«Ваш вид мне не нравится!» — говорила она, вытягиваясь на носках, как во время гимнастики, и ощупывая чей-нибудь лоб. Ладонь ее определяла температуру с точностью до десятых.

Постепенно, сама того не желая, мама приучила соседей обращаться к ней не только по медицинским вопросам, но и с другими просьбами. «Бюро добрых услуг» — прозвали нашу квартиру.

— Необидное прозвище, — сказала мама. — Но в бюро не может работать один человек. Должно быть минимум два. Ты понял?

— Живете на износ, — сокрушался Гнедков. — А те, ради кого вы изнашиваете себя, захотят ли вас отремонтировать в случае какой-либо жизненной аварии? Ведь врачи, я догадываюсь, не только лечат, но и сами болеют.

Порождать неверие в окружающий мир было болезненной страстью соседа с нижнего этажа.

— Видел бы ваш покойный супруг! Он-то ведь до этой своей болезни... нежил и баловал вас, как дитя!

Нежность, однако, не изнежила маму, а баловство не избаловало. Она жила на износ так, будто износа быть не могло: прятала усталость, а поступки не выдавала за подвиги.

— Врач — не только профессия, но и образ жизни, — уверяла она.

И «бюро добрых услуг» продолжало действовать.

Одинокие болели гораздо чаще и дольше, чем семейные.

— Одиночество, как притаившаяся инфекция, подтачивает организм изнутри, — сказала мама. — Страшно подумать, но некоторые одинокие люди радуются болезни: о них вспоминают! Приходит врач из поликлиники. Я прихожу... Нельзя оставлять людей одинокими!

«Ненавижу войну!» — каждый раз повторяла мама, подходя к квартире на первом этаже, где жила Надежда Емельяновна. Этими словами мама будто стучалась к ней.

— Иди домой, Петя! Она, когда разговаривает с детьми... плачет. Так что иди.

Дочь Надежды Емельяновны погибла на войне в сорок первом году. Ее звали Таней.

— Иди, Петя!

Мама брала меня за локоть и осторожно подталкивала к лифту.

Она уже тогда отставала от меня на полголовы, но все в ее облике было зрело, определенно.

— Я — законченный объект, — говорила она. — А ты выглядишь еще недостроенным.

Это действительно было так. В незавершенном здании одна какая-нибудь часть непременно обгоняет другую и при этом нелепо выглядит, выпирает. Природа бросила свои главные строительные усилия на мои руки и шею: они были несоразмерно длинными. Я знал об этом, и шею старался упрятать в плечи, а руки за спину. Мне вообще казалось неудобным быть выше мамы, и я ей подчеркнул во всем подчинялся: в лифт — так в лифт, не заходить в квартиру — так не заходить.

Но когда Надежда Емельяновна тяжело заболела, мама сказала:

— Я выписала ей уйму лекарств. Но рецепты сами по себе не могут помочь. Поэтому отправляйся по обычному маршруту — в аптеку!

Маршрут и правда был для меня привычен: когда мама устанавливала в какой-нибудь из квартир медицинский пост и начинала атаковать болезнь, боеприпасы в виде лекарств подносил я. Если, конечно, у пострадавшего не было родственников.

Возле двери Надежды Емельяновны, машинально подражая маме, я прошептал: «Ненавижу войну!», точно это был условный пароль.

Шагов я не услышал, но дверь открылась.

— На улице холодно? — спросила Надежда Емельяновна.

— Что вы? Тепло!

— А я замерзла.

Кутаясь, как бы прячась в необъятный платок, она бесшумно вернулась к постели.

Я не раз встречал ее во дворе... Но не мог разглядеть как следует: она старалась пройти незаметно, боясь, что с нею заговорят.

Над постелью висели фотографии двух молодых красавиц. Таких красавиц, что я оторопел с пузырьками и коробочками в руках.

— Это моя дочь, — глухо сообщила Надежда Емельяновна.

— А рядом?

— А рядом... я. Что, не верится?

Чтобы я не сравнивал ее с фотографией, она еще глубже погрузилась в платок. Но я все же заметил, что губы ее, нос, подбородок остались теми же: годы не смогли изменить их форму, стереть их значительность. Но раньше это была значительность надежды, уверенности в себе, а теперь...

Я помнил, что, разговаривая с детьми, Надежда Емельяновна начинает плакать. И изо всех сил старался, чтобы этого не случилось.

— Сегодня замечательная погода! — провозгласил я. — И вид у вас гораздо лучше, чем... в те дни.

— А ты в те дни у меня не был, — без насмешки и упрёка ответила она.

— Вечером к вам придет мама! — Своими сообщениями я хотел предотвратить ее слезы. — А у нас в доме ремонт собираются делать!

— Дом старый, — согласилась она. — Но прочный. Сколько еще простоит!

Ей хотелось, чтоб он простоял подольше.

— Таню я прямо сюда привезла. Из родильного дома... — Помолчала и добавила: — Она любила выпрыгивать во двор через окна.

— Это уже... потом? Позже?

— Там, под окнами, ее ждали мальчишки. Сюда заходить не решались.

Она шепотом попросила:

— Присядь.

Я присел возле низкого квадратного столика, стоявшего у постели. На нем были разложены листки, вырванные из тетрадей в клеточку и линейку, из блокнотов и записных книжек. Листков было много... С возрастом их цвет изменился, и, как на лицах людей, на них появились морщины. Одни были сплошь исписаны, на других было всего несколько строк, карандашных или чернильных. Строки тоже не устояли перед годами: поблекли и выцвели.

— Это все когда-то Танюше писали... — сообщила Надежда Емельяновна.

Чувствуя, что она может заплакать, я воскликнул:

— Ее так любили?!

— Здесь только записки. А письма я прячу!

Она приподнялась, дотянулась до комода и, выдвинув верхний ящик, достала оттуда несколько писем.

— Эти трое обещали пожертвовать ради нее жизнью. — Она положила на стол три поблекших конверта. — Интересно, где они сейчас? Помнят ли ее?

— Помнят! — вскричал я, чувствуя, что голос ее дрожит и вот-вот оборвется. — Эти помнят! И остальные, я думаю... Нет, я уверен!

Надежда Емельяновна закрыла глаза, раздумывая, можно ли верить моим словам. Наконец она тихо произнесла:

— Мне бы хотелось узнать, кто они... эти бывшие мальчишки.

— Вы их не знаете?!

— Они же страдали под окнами... А подписывались одной буквой. Или двумя. — Она приподнялась. — Только в этой записке есть имя: «Петя».

— И меня Петей зовут!

— Я знаю: Петя Перов...

— Получается: Пе-пе! Есть такой рассказ. Слышали?

Мои восклицания сдерживали ее, отвлекали от горестных мыслей. Поэтому я громко и чересчур торжественно пообещал:

— Найду их! Не верите? Разущу всех троих!

— Каким образом? — Она вновь прикрыла глаза и медленно вытянулась под одеялом. — Школы, в которой они учились, уже давно нет... Ее снесли.

— А после войны они приходили сюда?

— К кому приходиться?

— К вам!

— Зачем я нужна им? Гнедков, который между нами, на втором этаже, живет, сказал однажды: «Стучатся в дверь, когда есть нужда!»

— И вы ему верите?

— Гнедков с ними в одном классе учился. Я расспрашивала его, а он и ответил... той фразой. Получается, прав: ко мне они не зашли.

— Значит, в другие города переехали! — уверенно заорал я, чувствуя, что голос ее вновь готов оборваться. — Переменили адреса — вот и все. А я разущу! Перепишу эти буквы...

— Зачем? Ты письма возьми... Только не потеряй.

Тут я заметил, что пузырьки и коробочки с лекарствами все еще у меня в руках.

— Танюша была не только красивой, — сказала Надежда Емельяновна. — Она была доброй. Всегда стремилась помочь... Как твоя мама. — Надежда Емельяновна тоже заметила пузырьки и коробочки. — Как ты.

Валька Гнедков был сыном своего отца: встревал в дела, которые его не касались, и с любопытством следил за передвижениями в доме и во дворе.

— По квартирам ходишь? — спросил он испытующе, как неопытный следователь, заглядывая мне в глаза. Гнедков-старший делал это осторожнее: доверительно и сочувственно. — «Бюро добрых услуг»? Ха-ха!

— А ты бюро каких услуг?

— Я вообще ни у кого в услужении не состою! Хочешь, чтобы тебя похвалили?

Если кого-нибудь хвалили, Валька тотчас искал причину, которая бы сделала похвалу незаслуженной.

— Брат милосердия? Доктор медицинских наук? Ха-ха!

— Что ты гогочешь под окнами? Она больна... Тебе неизвестно, что ли? У нее дочь на войне погибла!

— Больна? Прости, я не знал. А дочь ее погибла не на войне.

— Как... не на войне?

— Не на войне. И не на земле. И не в воздухе! И не на море...

Валька переминался в такт каждой фразе.

— А где же?

— Между небом и землей!

Валька любил обладать чем-то таким, чем другие не обладали. Часами с барометром и секундомером. Футболкой с тигром, разинувшим пасть, на которого Валька поглядывал с надеждой, как на телохранителя. Или секретом, или хоть самой маленькой новостью. Это выделяло его и вроде бы возвышало над окружающими. Разжигая любопытство собеседника, он таинственно переминался с ноги на ногу, будто пританцовывал: а ну-ка догадайся, а ну-ка узнай!

Я схватил нагло переминавшегося Вальку за узкие, костлявые плечи и притянул к себе:

— Где она погибла? Говори!

— Я же сказал: между небом и землей. На крыше!

— На какой крыше!

— Нашего дома.

— Откуда ты знаешь?

— Откуда! Она училась с моим отцом...

Мама готовила на кухне диетический бульон для Надежды Емельяновны. Диете и режиму она придавала большое значение. Весь дом знал от мамы, как надо питаться, двигаться и дышать, чтобы не вступать в конфликт с организмом.

От имени нашей семьи придерживаться всех этих правил должен был я.

— Я буду здорова, если будешь здоров ты! Считай, что стараешься ради своей единственной матери.

Она часто ставила меня в безвыходные условия.

— Ты очень возбужден, — глядя в кастрюлю, сказала мама. — Чувствую по дыханию.

— Беседовал с Валькой Гнедковым...

— Сильнодействующий раздражитель!

— Он сказал, что Таня Ткачук погибла не на войне. А на крыше.

— На крыше тоже была война. — Мама оторвалась от диетического бульона. — Она сбрасывала зажигалки и была смыта... взрывной волной. Если бы не она, мы бы с Валькиным отцом могли задохнуться в бомбоубежище. Два соседних дома сгорели дотла. Теперь на их месте сквер.

— А Валька ехидничал, пританцовывал... Может, вернуться во двор и вмазать ему как следует?

Мама покачала головой:

— Победи его мирными средствами. Что у тебя в руках? Письма?..

— Старые, еще довоенные. Я пообещал Надежде Емельяновне найти бывших мальчишек, которые присылали их Тане. Узнать о них: где живут и кем стали. А как узнать — сам не знаю. Обратных адресов нет. Имен и фамилий тоже.

— Всего три письма? — удивилась мама.

— Да что ты! Весь стол завален... Но эти обещали пожертвовать ради Тани жизнью.

— Закономерно. И справедливо! — сказала мама. — Это была самая красивая девочка во всей школе. Может быть, и в районе! Как встречу начинающих красоток, обязательно с Таней сравниваю. Нет, не тянут! Я была на полтора года моложе... Увижу, бывало, ее — на корточки приседаю. А что делалось с мальчишками, воображаешь? Они и приседали и вскакивали... Одним словом, непременно себя в ее присутствии проявляли.

— И наш Андрюша?

— Также старался. Но особенно проявил себя потом... после... Как только она погибла, на фронт ушел. Ему едва семнадцать исполнилось. Мог бы год подождать. А знаешь, что такое год на войне? Но Андрюша и одного дня ждать не хотел.

— Значит, он, может быть, из-за нее... и погиб?

— Я могла бы так думать. Но не хочу!

Мама вытерла полотенцем руки, взяла конверты и долго разглядывала их, то приближая к глазам, то удаляя от глаз, точно это были картины.

— Довоенные штемпели, — сказала мама. — Другой шрифт. Все по-иному... Так и вижу на плите примусы вместо конфорок! — Мама вернулась к современности и выключила газ. — Как же ты будешь искать?

— Надо, я думаю, прочитать письма и по их содержанию...

— Тебе, что ли, писали? — перебила она.

— А как же тогда?

— Есть живые свидетели. — Она задумалась, накрутила на палец свою мальчишескую челку.

— Вернее, свидетельница.

— Она сможет определить?

— Сможет. По инициалам... И, безусловно, по почеркам!

— Через столько лет? Ну, это ты...

— Сможет! Андрюша говорил: «Екатерину Ильиничну не обманешь. Она каждого из нас по почерку знает: в прямом и переносном смысле».

— Кто это?

— Их классная руководительница. Живет близко... Через дорогу. Прогуливается по вечерам, вышагивает по переулку согласно моим предписаниям. Чтоб не вступать в конфликт с организмом! Помню, какой она молодая была... Уже тогда в характерах разбиралась. Сама

ученикам прозвища придумывала. Ничего себе? И всегда снайперски точно! Так приклеивала, что если владельцу прозвище и не нравилось, отодрать было невозможно.

— А как она Андрюшу прозвала?

— Горнистом.

Я сравнивал фотографию на стене с женщиной, которая стояла рядом.

— Величественно я выглядела, не правда ли?

— Выглядели, — ответил я с детской прямолинейностью, которую не всегда умел вовремя обуздать.

— У нас с тобой родственные манеры, — сказала Екатерина Ильинична. — Я тоже не подвергаю фразы предварительной обработке.

— Мой дядя рассказывал...

Она перебила:

— Знаешь, как Андрюша именовал меня? Прости, но дядей я его называть не могу.

— И я... первый раз назвал.

— Он именовал меня классной руководительницей. Делал ударение на первом слове — и оно становилось оценкой. Теперь руководить некем. А я привыкла!

Лицом она была не вполне такой, как на фотографии, а фигура осталась по-прежнему властно прямой, статной. Голосом она обладала густым, не потрескавшимся от времени. Все в ней было добротнo и ладно. И лишь цвет лица был серовато-увядшим.

— Классная руководительница — это был мой чин, — продолжала Екатерина Ильинична. — А было еще и прозвище... Екатерина Великая! Эпитет мне льстил. Но в сочетании с именем... получилось нечто самодержавное. И я отучила так меня называть! Пожертвовала уроком своей родной математики и совершила небольшой экскурс в историю. Я нарисовала такой портрет царицы Екатерины, что сравнивать меня с ней стало попросту неудобно.

Заметив, что я уставился на косу, Екатерина Ильинична объяснила:

— Прежнюю прическу свою я разрушила много лет назад с той же высокой целью: чтобы не походить на представительницу свергнутого самодержавия.

— Я слышал, вы сами придумывали ученикам прозвища?

— Считала это разумным. «Раз уж прозвища неизбежны, надо их держать под контролем, — решила я. — А еще спокойнее — сочинять самой!» Ты согласен? Я слушаю... Отвечай.

Дождаясь моего ответа, она подошла к старинному зеркалу с паутиными трещинками и стала всматриваться в свою фигуру, в свое лицо.

— А почему вы моего дядю прозвали Горнистом?

В ее присутствии я второй раз произнес слово «дядя».

— Горнистом? Не потому, что он играл на горне. Нет... Слуха у него не было.

— Как у меня!

Мне хотелось чем-нибудь походить на дядю-героя.

— Иногда я хитрила, — созналась Екатерина Ильинична, все еще не отходя от зеркала. — Придумаю ученику прозвище, которому надо, так сказать, соответствовать, — и наблюдаю, как он, бедный, хочет до него дотянуться. Посвящаю тебя в некоторые тайны педагогической лаборатории! Но Андрюше дотягиваться было не надо: он полностью соответствовал своему званию.

— В чем именно... соответствовал?

— Без нужды не горнил, а только если следовало предостеречь или объявить тревогу: человек в беде, человек в опасности! Тут он не медлил... Сколько ему доверяли тайн! Но сам в тайники не лез. Никогда!.. Деликатнейший был Горнист. И горнил осторожно, чтобы не оглушить окружающих. Андрей Добровольский... Попросят у него нарядную куртку, чтобы Таню в кино пригласить, а он заодно и свитер свой предлагает. Хоть сам был влюблен... Попросят первый том «Графа Монте-Кристо», а он оба несет. Безотказный был парень!

— Не умел говорить «нет»?

Она подошла ко мне:

— Откуда такие сведения? Он не любил говорить «нет». Но это не значит, что не умел. Помню, одного своего одноклассника он беспощадно (я не оговорила, именно беспощадно!) лупил по щекам и приговаривал: «Нет! Нет! Нет!..»

— Лупил?! Мой дядя?

— Лупил не дядя. Лупил один юноша, честный и смелый, другого бесчестного и трусливого.

— Но кого же он... бил?

— Тебя сейчас только это интересует? Вместо ответа сама задаю вопрос: зачем ты явился? Я слушаю... Отвечай...

Эти ее «я слушаю»... «отвечай», которые она, конечно, перенесла в квартиру из школьного класса, заставляли ощущать себя отвечающим у доски.

Она вновь подошла к зеркалу с паутиными трещинками. Оттянула платье на талии.

— Неделю назад ушивала... Но надо еще ушить: опять похудела. Со здоровьем, стало быть, так себе. Мне предстоит неприятная операция. Вернусь ли я сюда из больницы и буду ли по вечерам дышать свежим воздухом — сие неизвестно. Поэтому ты торопись — приступай к своему делу.

Ожидая ответа у доски, учителя часто отводят глаза в сторону или опускают их в классный журнал, чтоб не вводить в смущение ученика. Екатерина Ильинична с той же целью обратилась к старинному зеркалу.

— Я был у Таниной мамы. У Надежды Емельяновны...

Екатерина Ильинична резко оторвалась от зеркала:

— Сам зашел или она позвала?

— Я ей лекарства принес.

— Тоже Горнист? — Она посмотрела на меня с уважением. — Это прозвище может стать в вашей семье потомственным!

Екатерина Ильинична оставила платье в покое и махнула рукой:

— Чего о себе беспокоиться? Стыдно мне беспокоиться: я Таню в четыре раза пережила. В четыре!.. Как выглядит Надежда Емельяновна?

— Мама жалуется, что она лечиться не хочет. Лекарства не принимает.

— Можно понять... — Екатерина Ильинична спохватилась: — Этого ты не слышал! Договорились?

— Не слышал.

— Я бывала у нее. Очень давно... Не находила слов утешения. Начинала рассказывать, какая Таня была замечательная, — и только сильнее растревляла... Последний раз, помню, поздоровалась и попрощалась, а все остальное время молчала. Потом она надолго уехала куда-то к сестре. Значит, вернулась?

— Она мне три письма дала. Вот они... Просила узнать, где эти ребята и почему не заходят. Обещали ради Тани жизнью пожертвовать!

Я протянул Екатерине Ильиничне поблекшие, морщинистые конверты. Она надела очки, стала осторожно вынимать письма и одно за другим читать. Она читала так долго, что я спросил:

— Буквы стерлись?

— Ничего не стерлось. Буквы все те же... Те же! Ты понимаешь? Те же, которыми они писали контрольные за партой и на доске мелом. Не заходят, говоришь? Как же они могут зайти, если обещали жизнью пожертвовать?

— Они все... погибли? — недоверчиво спросил я. — Все трое?

— Не трое! Их миллионы погибли... А буквы все те же! — Она помолчала. «С. Н.» Это Сережа Нефедов. Он! Не сомневаюсь... Художественная была натура! Цветы на подоконниках разводил. Бывало, после уроков по шесть портфелей тащил: освобождал девчонок от физических напряжений. Он им и каблуки приколачивал, если отрывались во время танцев. И только один человек в классе называл его за это «бабьим угодником». Только один... А как эти мальчики танцевали! Целомудренно, чисто... Моя педагогическая бдительность от бездействия притуплялась. Сережа Нефедов... Он и рисовал хорошо! Екатерина Ильинична что-то вспомнила. И, утратив вдруг статность и властность, заспешила, засуетилась. — Ну да... У меня есть его картина: «Неизвестная с портфелем». Таню изобразил... Он и чувства свои изобразил в письме живописно! А вот картина. Посмотри. Узнаешь?

— В жизни она лучше была, по-моему.

— В жизни была лучше, — согласилась Екатерина Ильинична. — Лучше, чем все они были в жизни, вообще быть невозможно! — Внезапно и голос ее потерял свою «стать». Он начал спотыкаться, падать, вновь подниматься. Она возражала кому-то... кого не любила: — Идеальных не существует? Они были идеальными... Были. Все трое! «Мало прожили, потому и были!» — скажете вы. — Не успели еще вернуться от идеалов! А я знаю, что они, сколько бы ни прожили, не уворачивались бы. Знаю... И никто меня не собьет! — На ее серовато-увядшие щеки пробился румянец. Письма в руках дрожали, как от озноба. — «В.Б.» Это Володя Бугров... У меня сохранилась его тетрадка. Он решал в ней задачи, которых я лично решить не могла. — Екатерина Ильинична стала обеими руками перебирать бумаги в ящиках письменного стола. Нашла тетрадку. И положила рядом с картиной. — Только один

человек в классе называл его «телеграфным столбом»: дескать, прямолинеен. А в чем заключалась эта прямолинейность? Говорил правду... Считал, что если производственные и спортивные нормы надо выполнять, то уж человеческие тем более! Всегда в очередь становился, никого не расталкивал, а оказывался все равно впереди. Академиком был бы... Сколько будущих академиков не дожили даже до института!

Она вновь начала спорить с кем-то отсутствующим:

— Прямолинеен?.. На контрольных во все концы класса спасательные круги раскидывал. Я старалась не замечать: зачем мешать спасению утопающих? — Она обратилась ко мне: — Этого ты не слышал. Договорились?

— Не слышал.

— Нет идеальных? А мои мальчики? А мои ребята?! Вот написано: «С». Это Саша Лепешкин. Стеснялся своей фамилии: одной буквой отметился. Маленьких обожал! И этого тоже стеснялся: украдкой, за школой, первоклассников на санках катал. Мама его уборщицей в школе работала. Так он, бывало, за нее после уроков полы мыл. Этого не стеснялся! Девчонки идут... сама Таня идет, а он моет, трет. Ведра таскает... Жили они скромно — и дома у них было все самодельное: приемник, шкафы, табуретки. Ему-то Андрюша свою куртку со свитером и давал. Нет идеальных? А Саша Лепешкин! Только один человек в классе назвал его «поломойкой». Только один...

— Кто это, Екатерина Ильинична?

— Тот, которого Андрюша отхлестал по щекам. Ладно уж... Поскольку мне предстоит операция с неизвестным исходом, я расскажу тебе. Ты, в конце концов, должен знать. Тем более что этот самый «один в классе» живет с тобой рядом.

— Гнедков? — тихо угадал я.

— Трагический парадокс заключается в том, что и те трое тоже жили на разных этажах твоего дома. И все трое погибли, а он... Встречала его на улице. Кидался с риском для жизни через дорогу, заглядывал в глаза: Валька его учился у меня в классе. Вот уже года три не кидается и не заглядывает: я ведь на пенсии.

— А за что Андрюша его... по щекам? За «бабьего угодника» или за «поломойку»?

— За это Андрюша делал ему внушение. Мягко предупреждал. Гнедков клялся, что больше не повторит, залезал своими словами в доверчивую Андрюшину душу: «Ты мне веришь?» Андрюша, как ты знаешь, не любил говорить «нет». И отвечал: «Ну ладно, последний раз!»

— А потом все-таки бил по щекам?

— В тот день Гнедкова не бить, а убить можно было.

— За что?!

— За то, что Таня погибла.

Екатерина Ильинична властным движением усадила меня на диван:

— Говорят: «В ногах правды нет». Еще одна странная поговорка. Разве не ноги нас по земле носят? Но ты все-таки посиди.

Она боялась, чтобы, услышав ее рассказ, я не зашатался, не рухнул.

— Тебе мама про это не говорила?

Я покачал головой.

— Оберегает тебя. И я вначале хотела. Потому что ты живешь по соседству с Гнедковым. А теперь я как раз поэтому и расскажу! Оберегать — значит готовить к неожиданностям и возможным конфликтам, а не держать в неведении. Ты согласен? Я слушаю...

— Конечно! Безусловно... А как же!

— Первый раз фашистские самолеты прорвались к городу через месяц после начала войны... Мои ребята, жившие в вашем доме, составили график: кому и когда дежурить на крыше. Разделили ее на квадраты: дом-то длиннющий! Однажды, когда была объявлена тревога, Таня увидела из окна, что Гнедков идет не на пост, а хочет прошмыгнуть вниз, в бомбоубежище. Она окликнула его: уже звякали зажигалки. Он объяснил, что в дождь дежурить не может: рискует свалиться с крыши. А ведь тоже клялся в любви! Трусы могут любить, как ты думаешь?

— Не могут!

— Могут, Петя... Но прежде всего себя! И вообще... страх умерщвляет в них любые другие чувства. Гнедков и спрятался в бомбоубежище. Фронт на крыше был открыт врагу. Я не высокопарно изъясняюсь: это было именно так. Тогда на покинутый пост встала Танюша. На ее «квадрате» находился чердак. Она скинула с крыши все зажигалки. Одну даже вытащила с чердака... вместе с горевшим бельем. В те времена на чердаках сушили белье... Два ближних дома горели. А ваш был спасен! Но взрывная волна от фугаски, упавшей неподалеку, сбросила Таню вниз.

— И тогда наш Андрюша...

— Беспощадно отхлестал труса. Гнедков и тут захлебывался от страха: «Прости, Андрей! Прости!..» Но тот отвечал: «Нет!» Жизнь научила его, наконец, не только любви, но и ненависти. Ненавидеть необходимо... Иначе мы, выражаясь привычным для меня математическим языком, поставим знак равенства между добротой и беспринципностью. «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Вот это точная поговорка. Но столь же верно прозвучало бы: «Скажи, кто твой враг...» Заговорила я что-то! — Она помолчала, передохнула. — После Таниной гибели все мои мальчики написали заявления в военкомат. Кроме Гнедкова: сказал, что зрение не позволило. Хотя выгоду свою разглядит за сто километров! Да и вообще... с таким зрением, как у него, многие воевали. Вот и вся история!

— Спасибо, Екатерина Ильинична.

— За что?

Я хотел сказать: «За доверие!», но удержался.

— Во дворе рассказывать про это не надо, — предупредила она. — Ни за какой давностью срока предательство прощено быть не может. Но у Гнедкова есть жена, сын...

— Такой же, как он! — выпалил я.

— Согласна: он принял в наследство кое-что, чего лучше было не принимать. Но мать его, говорят, милая женщина. Я всегда против нападения на семью: при этом страдают невинные. Да и Надежда Емельяновна не знает подробностей.

— И верит Гнедкову! — вновь выпалил я. — Ему ведь известно было, что эти трое, которые обещали жизнью пожертвовать... ею пожертвовали?

— Известно. А что?

— А то, что он упрекал их: дескать, не заходят, Танину мать забыли. Погибших упрекал! Представляете? — Я взмахнул своими ручищами. — Еще бы надавать ему по щекам!

— Воздержись! Сосредоточься лучше на болезни Надежды Емельяновны... Поскольку — Горнист! Кстати, передай, как говорится в дар от меня картину «Неизвестная с портфелем». И тетрадку Володи Бугрова. Тут на обложке написано: «Татьяна, милая Татьяна!» Сам он стихов не писал, но за помощью обратился к великому. «Телеграфный столб»? Запомни, Петя: болото всегда ненавидит гору. И чем выше гора, тем больше это раздражает болото.

У нас во дворе, как на стадионе. Буквально ни на день не утихали спортивные страсти. Валька Гнедков обожал быть судьей. И так как все остальные мечтали гонять мяч или шайбу, свисток охотно уступали ему. К тому же Валька обладал «сверхчасами» — с барометром и секундомером, а за волейбольными состязаниями наблюдал сквозь перламутровый театральный бинокль. Это производило впечатление на игроков и болельщиков.

Судействуя, Валька испытывал наслаждение: ему подчинялись! С особым удовольствием он назначал штрафные удары: одних наказывал, других поощрял.

Когда я с картиной и тетрадкой вошел во двор, Валька остывал от только что утихшей волейбольной схватки. Вспотевшие игроки разошлись по домам, и Валька, как хозяин, один расхаживал по площадке. Преисполненный ощущения власти, он направил на меня свой бинокль.

— Какой ты маленький! — с радостью констатировал Валька.

— Переверни бинокль — и буду большим.

Но он переворачивать не спешил. Бинокль исказил Валькино зрение: ему показалось, что я где-то вдали... И он отважился провозгласить:

— Носильщик? Доставщик на дом? Опять что-то кому-то тащить? «Бюро услуг»!

Слово «добрых» он проглотил.

«„Бабий угодник“, „поломойка“!.. — мысленно вскипел я. — Теперь вот „носильщик“... Сколько же можно?».

— Между прочим, я выяснил: Таня Ткачук погибла на войне!

Я хотел, чтобы Валька возразил мне. Но он этого не почувствовал — и пошел навстречу моему желанию:

— Да что ты! Она просто с крыши свалилась.

— Тебе папочка так объяснил?

— Он-то уж лучше знает!

— Он врет. Ему выгодно так объяснять!

Валька перестал быть судьей: он понял, что я не буду ему подчиняться.

— Твой папочка врет, — повторил я. И, забыв о предупреждении Екатерины Ильиничны, четко добавил: — Он предал в ту ночь наш дом. А она спасла!

Валька стал упрямо переминаться с ноги на ногу, словно пританцовывать:

— Она свалилась. Дождь был... Она и свалилась!

Я не торопясь положил на скамью картину и тетрадь. И по привычке отправил руки за спину.

— Ну-ка, еще скажи!

Он продолжал по инерции переминыться. Но для меня и этого было достаточно. Бинобль полетел в сторону...

— Защищайся! — предложил я Гнедкову.

Но он умел только обвинять и судить. Мои несуразно длинные руки вырвались из-за спины, как из укрытия.

— Вот тебе за отца-труса! А вот тебе... за тебя самого! Вот! Вот еще...

— Прости, Петя! Я не думал. Я не хотел... Прости, — бормотал Валька, подобно тому, как когда-то вымаливал пощаду у Андрюши его отец.

— Нет! Нет! И нет!.. — ошалело выкрикивал я.

Потом отряхнул руки, взял со скамьи картину, тетрадь и направился к своему подъезду.

Бинобль валялся в траве.

Через полчаса истеричный, непрерывный звонок ворвался в нашу квартиру. Мы с мамой одновременно бросились к двери.

На пороге стоял Гнедков-старший. Он стирал пальцами испарину с покатога лба. Даже стекла очков пыльного цвета не могли спрятать панически остановившегося взгляда.

— Нина Васильевна... Вы дома? Это спасение! Я думаю, не дотащусь. Дикий спазм... Сердце остановилось!

— В этом случае, я полагаю, вы бы действительно не дотащились, сказала мама.

Гнедков, еле ступая, страшась каждого своего шага, доплелся до комнаты.

— Я очень надеюсь, что вы сделаете укол. Сосудорасширяющий. Хотел вызвать «неотложку». Но вспомнил, что прямо над нами — «бюро добрых услуг».

— Это случилось внезапно? — сухо осведомилась мама.

— Валя вернулся со двора избитый... — Не желая ссориться с членом маминой семьи, он проговорил в мою сторону: — Я к тебе, Петя, не имею претензий. Кто-то ввел тебя в заблуждение. Но когда родной сын требует оправданий...

В тот день, значит, Валька и дома продолжал быть судьей.

— Поймите: когда родной сын требует от отца оправданий и объяснений, сердце не выдерживает! — воскликнул Гнедков. — Дикий спазм... Такого еще не бывало. Нина Васильевна, я надеюсь, вы-то, как врач, мне сочувствуете?

— Как врач... да. — Мама взяла шприц, который всегда был у нее наготове в металлической коробке. — Наконец мне удастся вас уколоть! Ложитесь на тахту. Спустите штаны... Петя, выйди на кухню.

— Как же я сама-то не догадалась? Танюша рассказывала о нем. Низкий поклон его памяти.

Он почувствовал... уловил главное в моей дочери: доброту и отчаянность. Я звала ее «декабристкой». И боялась тех ее достоинств, которые другие очень ценили. Доброта иногда делает человека беззащитным, а отчаянность — безрассудным. Я боялась и того и другого. Но не уследила... Не уследила в тот вечер. Мне бы самой на крышу подняться! И все было бы естественно... хорошо. — Она опустилась на диван. — Ты заходи ко мне, Петя. Когда из школы возвращаешься. Или во двор бежишь. Это же по дороге...

— Обязательно! Только вы маму слушайте.

— Если ты будешь заходить, я буду слушаться. Тогда поживу еще...

— Очень прошу вас!

— А «В.В.» — это Володя Бугров. Конечно... Как сама-то не догадалась? Танюша восхищалась им: «Будущий Лобачевский!» Будущий... Ах, если б то, что обещает нам это слово, всегда сбывалось! У Володи в письме есть такая строчка... вот она: «Хоть математика — не гуманитарная наука, прояви к ней гуманность!» Это он имел в виду себя самого. Как же я?.. «Танюша, милая Танюша!»

Она немного переиначила Пушкина, потому что обращалась к собственной дочери.

— И за тетрадку спасибо! — Надежда Емельяновна продолжала стыдить себя: — Всегда была задним умом крепка. Теперь-то мне ясно, что «С.» — это Саша Лепешкин. Танюша говорила о нем: «Добрейший из добрых! Возится с первоклассниками, как нянька». — Она подошла к окну. — Я их в гости ждала. И вроде стыдила: «Обещали жизнью пожертвовать, а адрес забыли». Прости меня, господи!

Надежда Емельяновна спрятала письма и тетрадь в шкаф, закрыла его на ключ. А картину поставила на квадратный столик перед кроватью.

— Еще погиб Дима Савельев с пятого этажа. Верней, пропал без вести, сообщила она.

— Теперь уже не найдется... наверное.

— Мать ждет его. Раз извещения о смерти не было... И Боря Луныко из второго подъезда. Отдал жизнь на Дороге жизни под Ленинградом. Его матери уже нет. Я про всех знаю, кто погиб в нашем доме. Дима и Боря тоже с Танюшей учились.

— У Екатерины Ильиничны?

— В их школе перед войной один десятый класс был... Не забудешь ко мне заходить?

— Что вы, Надежда Емельяновна!

— Я тогда еще поживу...

Она распрямилась и, как бы проверяя, сможет ли выполнить свое обещание, нарочито твердой походкой прошлась до окна и вернулась к дивану.

— Я часто вспоминаю, Петя, про наших мальчишек. И вот что думаю... О тех, которые трудились на заводах, в разных учреждениях, золотом на мраморных досках написано: «Здесь работали... Вечная слава!» И правда, выходит, никто не забыт и ничто не забыто. А мальчики нашего дома нигде еще не работали. Не успели они... Но они ведь не виноваты, что еще не работали? Они много чего не успели.

И тут я вскочил со стула от неожиданной мысли.

— Надежда Емельяновна... Послушайте! А если сделать доску, пусть деревянную или еще из чего-нибудь... и установить ее в нашем доме? В подъезде, возле лифта. Если сделать так, а?

— Как ты... говоришь?

— Если доску установить? — Я начал размахивать своими ручищами. — И плюс к тому еще летопись создать: «Герои, жившие в нашем доме!»

— Так делают... где-нибудь? — спросила она.

— Я точно не знаю... Но ведь и в учреждениях раньше гранитных и мраморных досок не было. А теперь есть! Все с чего-нибудь начинается. Вы подумайте: матери будут каждый день видеть, что их сыновья не забыты. И отцы будут видеть... и братья, и сестры.

Мысль, как бы мимоходом пришедшая в голову, становилась в моих глазах все более значительной и реальной.

— Вы подумайте: если даже сын или брат нигде еще не работал... ну, прямо из десятого на войну ушел, все равно о нем будет написано!

— А о дочери? — спросила она.

На следующий день я изложил свой план Екатерине Ильиничне.

— Если ты это сделаешь, я лягу в больницу со спокойной душой, — сказала она.

— Сделаю! Я уже и доску нашел. Мне ее оставил отец.

— Что значит... оставил?

— Он в последние годы места себе не находил. «Пользы от меня никакой!» — говорил маме. И она его нагружала заданиями. Которые были по силам... Вот заставила доску выстругать. «Сама не знаю зачем!» — сказала мне мама. А теперь известно зачем! Доска гладкая, прочная. И вся в прожилках, словно живая. Но главное — мне ее оставил отец. Даже можно сказать: завещал! Вот на ней...

— Никого не забудь! — перебила Екатерина Ильинична. — У вас в доме жили еще...

— Дима Савельев и Боря Лунько!

— Да, Дима и Боря. Нет идеальных? — Она снова с кем-то начала спорить. — А они, мои мальчишки? А твоя мама? А ты? Впрочем... этого ты не слышал! Договорились?

— Не слышал.

— Нарушаю правила педагогики? Да нет... Основное ее правило — говорить правду! Ты согласен? Я слушаю... Отвечай.

— Согласен.

— Дима и Боря...

— Все разузнаю про них! — пообещал я.

— Жизни были короткие, а узнать можно много. Ты друзей своих подключи! Пусть помогают.

Мне хотелось сделать все самому — и я промолчал.

— «Герои, жившие в нашем доме»? — продолжала она. — Так ты хочешь назвать свою летопись?

— Так.

— Дима пропал без вести. А должен был стать известным! «Будущий Амундсен! Будущий Пржевальский!» — писали о нем в стенгазете.

— Опять это слово, — проговорил я. — Сколько «будущих» так и остались будущими... «Ненавижу войну!» — говорит моя мама.

— Так должны думать все! — властно произнесла Екатерина Ильинична. — А кто так не думает, тех надо судить... По крайней мере, судом совести. Ты часто цитируешь маму. Это мне нравится! — Она передохнула. — Когда Диме пророчили судьбу Пржевальского, он отвечал: «Хоть бы лошадью Пржевальского стать: поскакать по белу свету». Вместо портфеля рюкзак за спиной носил. На руке вытатуировал якорь. Это единственное, за что я его осуждала. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет...» Еще одна странная «мудрость»! Циничная очень. Гнедковская, я бы сказала. А Дима каждое лето уходил с отцом в горы. И хотел, чтоб между ребятами утвердилось альпинистское братство: все «в связке» и друг друга подтягивают! Дима Савельев... На картах дальние маршруты прокладывал, а дошел только до Наро-Фоминска. Там и пропал.

— А Боря?

— Этот животных любил. Всех дворняжек подкармливал. Три или четыре у него дома прижились. Каждый день встречали его у школы... Когда он ушел на фронт, они еще год или полтора к школьному крыльцу приходили. Ждали его. Садились и ждали! Я не могла смотреть в их глаза... Борина мама ухаживала за ними, пока были силы. Что это ты, Петя? Не надо! Хотя я всегда хотела, чтобы мои ученики научились грустить, сострадать... Смеяться-то каждый дурак умеет. Я не представляла себе, конечно, что им выпадут такие страдания! А ты перестань... Хочешь, я для тебя новое прозвище придумаю? Горнистом уже называли Андрюшу... Что ж, у меня не хватит фантазии что-нибудь новое сочинить? Хотя бы вот... Будь Сигнальщиком! И всю сигналь, как только потребует жизнь.

Я от смущения втянул шею в плечи, а руки отправил за спину.

— Хорошо бы побольше было на свете Сигнальщиков и Горнистов! — продолжала Екатерина Ильинична. — И поменьше молчунов, которые не сигналият и не горнят ни при каких обстоятельствах. Одним словом, если ты сделаешь то, что задумал, я действительно лягу в больницу со спокойной душой. Буду знать, что имена и подвиги моих мальчиков не канули в вечность. И вообще... Пусть про тех, которые успели в жизни всего лишь одно — спасти нашу землю! — пусть про них будет написано. О каждом! Поименно... И если школ уже нет, то в домах, где они жили. А если и домов, где жили, нет, то в Домах пионеров, где в кружках занимались, или в детских библиотеках, куда за книжками бегали... Но чтоб ни одно имя не кануло в вечность! Мои дорогие мальчишки...

— Почему только мальчишки? Я и про Таню напишу.

— Тогда мне еще спокойней будет... на операционном столе!

О чем бы Екатерина Ильинична ни размышляла, предстоящая операция в этом участвовала. И выдавала свое присутствие: тон был то слишком оптимистичным, самоуспокаивающим, то задумчиво отрешенным.

Она подошла к старинному зеркалу с паутиными трещинками.

— Итак, я успешно продолжаю худеть! Это было бы данью моде, если бы происходило, как говорится, «по собственному желанию». Но я всегда была поклонницей фундаментальности. И если здоровье со мною не посчиталось, назовем его нездоровьем. Ты согласен? Я слушаю... Отвечай.

Но я не ответил.

Она продолжала всматриваться в себя:

— Похоже, что одно платье рассчитано на двоих. Но паниковать стыдно. Ведь Таню в четыре раза пережила!

— Зачем вы, Екатерина Ильинична?..

— Паниковать стыдно, — повторила она. — Я вот дочери своей об операции не напишу: зачем и ее загонять в больничную атмосферу?

— А где она?

— На Дальнем Востоке. На Дальнем! Стало быть, далеко. А ты — близко... Я бы хотела, чтоб от имени столь любимых мною детей меня навещал ты, Петя. Не возражаешь? Я слушаю...

— А как же? Конечно!..

Устроившись на скамейке в центре двора, я солнечным лучом сквозь увеличительное стекло выводил на дубовой доске букву за буквой.

Я хотел, чтобы открытие мемориальной доски было сюрпризом, — и сначала пытался работать дома, взгромоздившись на подоконник. Но солнце навевалось к нам лишь по утрам. И я решил, что удобней общаться с ним в открытую, не таясь.

Вскоре я был уже не просто в центре двора, а и в центре внимания. Ребята обступили меня, но не плотно, на расстоянии, которое называют «почтительным».

Как только из букв выстраивались имена и фамилии, я слышал приглушенное: «Владимир Бугров... А где он жил? В каком подъезде?»; «Таня Ткачук... А где она жила? На каком этаже?» Каждому, я чувствовал, хотелось, чтоб это было в его подъезде и на его этаже.

— Петь, а откуда ты знаешь их имена... и фамилии?

— Я много чего о них знаю! Но пока что не все. Вот Володя Бугров. Должен был стать академиком. — Я повторил слова Екатерины Ильиничны: «Сколько будущих академиков не дожили даже до института!» Надо разузнать о них... пока есть у кого узнавать. Мы, может быть, и летопись создадим: «Герои, жившие в нашем доме!» Сигнальщиками и Горнистами быть хотите?

— Еще бы!.. А что это значит?

— Потом объясню.

Лишь Валька Гнедков подойти не решался. Он наблюдал за мной издали — и многое для него было неясно, поскольку он не догадался взять с собой театральный бинокль. С тревогой он понимал лишь одно: его свисток отступил перед звуками... перед сигналами моего горна!

— Что это у тебя? — спросили меня возле больничной проходной.

— Подарок, — ответил я.

— Что это у тебя? — еще раз пять спрашивали меня врачи и медсестры в больничных коридорах.

— Подарок, — отвечал я.

Доска была обернута в мамин медицинский халат. Никто не остановил меня, потому, быть может, что на больничных перекрестках белый цвет действовал, как зеленый на уличных.

— Что это у тебя? — спросила Екатерина Ильинична, когда я вошел в палату.

— Все... Закончил.

— Не может быть!

Две женщины, лежавшие в палате с Екатериной Ильиничной, были немолоды и в чем-то роковом схожи: недуг обескровил их лица, в глазах поселились растерянность и тоскливое сожаление, — в такие дни люди запоздало осознают истинную цену всего, что делается вдруг для них недоступным.

Женщины с лихорадочной радостью отвлеклись от собственных мыслей, которые тоже, наверно, были трудно различимыми близнецами, — и встретили меня как долгожданного. Обе считали Екатерину Ильиничну главной в палате: произнеся фразу, поглядывали на нее, ловили ее одобрение.

Когда я впервые появился в больнице, одна из них спросила:

— Учительницу пришел навестить?

— Ему повезло: он у меня никогда не учился, — сообщила Екатерина Ильинична.

Я не разворачивал свой «подарок», — и женщины одновременно вспомнили, что у них много дел в коридоре: надо принять лекарства, посмотреть телевизор. Но, прежде чем покинуть палату, обе с таинственной, негромкой торжественностью сообщили, что я могу поздравить Екатерину Ильиничну.

— С чем? — спросил я, когда женщины тактично оставили нас вдвоем.

— Неудобно ликовать в такой больнице... в такой палате. Но оказалось, что операция мне ни к чему. Можно обойтись без нее! Что значит самовнушение? Достаточно было знаменитому профессору сделать это открытие, как я начала поправляться, полнеть. Заметно? Я слушаю... Отвечай!

— И цвет лица изменился!

Я обратил на это внимание сразу, с порога: на щеках у Екатерины Ильиничны проступил розовый цвет, как это бывало, когда она волновалась. Кожа натянулась, расправилась.

— Прибавила два кило! — победоносно прошептала она. — Я знала, что мнительность точит, сбивает с толку, создает опасные миражи. Но весь кошмар самоедства стал ясен мне лишь сейчас. Вот сказали: «Обойдемся без операции!» — и я расцвела. Хорошо, что дочь раньше времени напугать не успела.

От счастья я вытянул вперед руки, не успевшие еще обрести соответствие с туловищем, потер ладони. Повнимательней рассмотрел Екатерину Ильиничну — и полностью согласился со знаменитым профессором.

— Вас избрали здесь «палатной руководительницей»? Это видно!

— Я сама себя утвердила. Не забывай, какой эпитет прилагали к моему имени! — Она не спеша оперлась на руку и величественно преобразила больничную койку в ложе. — Болтаю на радостях что-то несусветное. Оттягиваю торжественный момент! Ну, покажи мне... Неужели все сделал?

Она поднялась с постели в расписном халате цвета ее волос.

Я осторожно распеленал доску и поднял вверх, закрыв ею себя. Екатерина Ильинична не смогла устоять на ногах. Расставшись с величием, она присела на край постели и еле слышно, срывающимся голосом прочитала:

— «Здесь жили, прямо из школы ушли на войну и героически погибли: Владимир Бугров, Андрей Добровольский, Александр Лепешкин, Борис Лунько, Сергей Нефедов, Дмитрий Савельев, Таня Ткачук. Вечная память героям!»

Я поставил доску на стол, прислонил к стене. А Екатерина Ильинична тревожно ходила по палате, мерила ее шагами во всех направлениях. Приближалась к доске, перечитывала вслух одно имя, потом другое.

— Это нужно было сделать давно! — сказала она. — Но хоть сейчас... Слава богу, что дожила! Теперь каждый день буду приходить к вам в дом. Спасибо, Петя...

Неожиданно она подошла и поцеловала меня в лоб, который был мокрым. Я стал вытирать его платком, хотя было уже поздно.

— Может быть, и другие... так сделают? — сказала она. — Сигнальщики и Горнисты! Сколько на нашей земле домов, где жили герои... Не сосчитать!

— Вы когда выписываетесь? — спросил я.

— Дня через три. Будем вместе приносить им цветы. Ты согласен? Я слушаю...

Я утвердительно замахал своими несуразными ручищами.

— В общем, моя операция отменилась! А твоя «операция» прошла замечательно. Спасибо... Сигнальщик!

В коридоре возле белого столика разговаривал по телефону молодой врач с русой бородкой и преждевременной лысиной. Он тер, точно полировал, свою лысину, вспоминая, как проехать к Театру оперетты. Меня всегда поражало, что окружающий их мир страданий не в силах оторвать врачей от обыкновенных забот. Даже от спортивных страстей, а теперь, оказалось, — и от оперетты. «Все правильно, — подумал я. — Они должны исцелять, а не приплюсовывать боль к боли и к печали — печаль».

— Подожди, — остановил меня врач. Договорил и, оставив в покое лысину, строго осведомился: — Это что у тебя?

Он указал на доску, обернутую в мамин медицинский халат.

— Подарок, — ответил я.

— Почему же обратно его несешь? — Он потер лысину. — Впрочем, не в этом дело. Тебе сколько лет?

— Шестнадцать, — соврал я зачем-то, прибавив себе два с половиной года. И, как напоказ, вытянул шею и руки.

Врач указал на белую дверь палаты, в которой лежала Екатерина Ильинична:

— Родственник?

— Да.

— А почему другие-то родственники не навещают?

— Других... нет.

— Ну, если нет... — Он медленно, словно на что-то решаясь, потер свою лысину. — Если нет... тогда зайдём в ординаторскую.

Когда мы зашли, он спросил:

— Тайну хранить умеешь?

— Умею.

— Так вот... Операцию делать не будем. Нет смысла.

— В каком смысле?

— Сроки пропущены. Поздно уже.

— Но она стала лучше выглядеть!

— Так бывает...

Я вернулся домой. Мамы не было. Я вновь распеленал доску, прислонил ее к окну.

На дереве солнцем было написано: Здесь жили, прямо из школы ушли на войну и героически погибли Владимир Бугров Андрей Добровольский Александр Лепешкин Борис Лунько Сергей Нефедов Дмитрий Савельев Таня Ткачук Вечная память героям!

— И Екатерине Ильиничне, у которой они учились... — добавил я вслух.

Прошло много лет. Но каждый раз, входя в наш дом или покидая его, я смотрю на потемневшую уже дубовую доску и мысленно говорю: «Вечная память... Ненавижу войну!»